

Библиография

Евгений Савицкий

Советская «республика словесности», «восточный интернационал» и кемалистская Турция в 1920—1960-е гг.

(ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

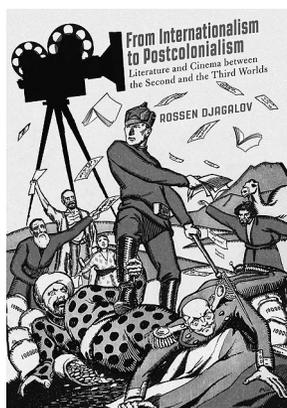
DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_301

В последние полтора года вышло несколько книг, посвященных советско-турецким литературным и в целом культурным связям в межвоенный и послевоенный периоды: «Красное письмо: литература и революция в Турции и Советском Союзе» Н. Эртюрк, «Против либерального порядка: Советский Союз, Турция и этатистский интернационализм» С. Хёрста, а также «Красная звезда над Черным морем: Назым Хикмет и его поколение» Дж. Мейера. Эти исследования соотносятся с более широким контекстом работ последних лет об отношениях между советской «республикой словесности» и «восточным интернационалом», стремятся дополнить их или оспорить некоторые их положения. Они также вписываются в более широкие дискуссии о становлении в XX в. «всемирной литературы» с ее каноном ключевых произведений¹. Особенно важны здесь книги «От интернационализма к постколониализму: кино и литература между вторым и третьим мирами» Р. Джагалова и «Евразия без границ: мечта о левом литературном содружестве, 1919—1943» К. Кларк, о которых поэтому тоже пойдет речь в этом обзоре.

Появление сразу трех книг о советско-турецких связях контрастирует с тем, о чем четыре года назад писал в названной книге² *Россен Джагалов*: все эти писа-

-
- 1 См.: *Казанова П.* Мировая республика литературы / Пер. с фр. М. Кожевниковой, М. Летаровой-Гистер. М., 2003; *Mufti A.R.* Forget English! Orientalism and World Literatures. Cambridge (Mass.), 2016; *World Literature in the Soviet Union* / Ed. by G. Tihonov, A. Lounsbery, R. Djagalov. Boston, 2023. См. также: *Венедиктова Т.* Институт мировой литературы по-гарвардски (обзор) // Новое литературное обозрение. 2018. № 152. С. 313—323.
 - 2 *Djagalov R.* From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third World. Montreal; L.; Chicago, 2020.

тели просоветских взглядов из стран Азии, Африки и Латинской Америки, которых так активно переводили и продвигали в СССР, сегодня мало кому интересны. Их книги выглядят побочным продуктом советского интернационального проекта, оказавшегося несостоятельным и давно отошедшего в прошлое. Правда, некоторые из этих писателей в итоге стали ключевыми фигурами в литературах своих стран, но там теперь предпочитают не вспоминать об их связях с СССР. Исследователи же из стран бывшего социалистического лагеря практически не занимаются этой частью литературного наследия, интересуясь в основном связями с Европой и Северной Америкой. Политически левыми писателями из стран третьего мира в какой-то мере занимаются западные специалисты по постколониальным исследованиям, но дисциплинарные границы обычно изолируют их предмет исследования от второго мира. Более того, в постколониальных исследованиях, по словам Джагалова, было как раз стремление спасти этих авторов от дихотомий холодной войны, выявив их самостоятельную значимость³. Это вело к стиранию советского контекста их творчества.



По словам Джагалова, взгляд из СССР позволяет увидеть историю неевропейских литератур иначе, чем только в контексте отношений с Западом, но также и Москва или Ташкент начинают смотреться по-другому, если взглянуть на них с позиции африканского писателя. Джагалов писал, что необходимо преодолеть границы между исследованиями советского общества и постколониальными исследованиями. До сих пор взаимодействие между этими областями ограничивалось тем, что подходы постколониальной теории применялись для изучения советской/российской периферии. Совсем мало сделано для понимания того, как советский опыт повлиял на становление самой этой постколониальной теории и связанных с нею литературного и кинематографического канон; существенный задел для работы в этом направлении представляет собой книга В. Тольц «Собственный Восток России», в которой исследуется, как в позднимперский и раннесоветский периоды в России складывается своеобразное антиколониальное востоковедение, оказавшее затем через арабских студентов влияние на Э. Саида и других ключевых постколониальных теоретиков⁴.

Сам Джагалов исследует период уже после Второй мировой войны, и прежде всего формы взаимодействия писателей и кинематографистов, появившиеся в период деколонизации и оттепели: проводившийся с 1958 г. в Ташкенте кинематографический Международный фестиваль стран Азии и Африки, а также деятельность Ассоциации писателей Азии и Африки, возникшей в результате проведения ряда Конференций писателей стран Азии и Африки, первая из которых состоялась также в 1958 г. в Ташкенте⁵. Джагалов стремится показать, что реконструкция кон-

-
- 3 О деколонизации, литературе и контексте холодной войны см. также: *Popescu M.* At Penpoint: African Literatures, Postcolonial Studies, and the Cold War. Durham; L., 2020.
 - 4 Тольц В. «Собственный Восток России»: политика идентичности и востоковедение в позднимперский и раннесоветский период. М., 2013.
 - 5 Об особой роли Узбекистана как витрины свершившейся советской деколонизации в этот период и позднее см.: *Kirasirova M.* The Eastern International: Arabs, Central Asians, and Jews in the Soviet Union's Anticolonial Empire. Oxford, 2024. P. 153—216 (об этой книге см. в: *Савицкий Е.* Амбивалентности советского интернационализма

кретных сетей взаимодействия между писателями и кинематографистами позволяет лучше понять их работы и вообще осмысление международной солидарности в то время. Роль второго мира в этих контактах, по словам Джагалова, неправильно сводить лишь к политике Кремля: особую роль играли международные организации, в том числе кинематографические и писательские, не менее важны были и просто личные контакты, конфликты и привязанности, которые нельзя было предусмотреть ни в каком политическом сценарии. Свою роль в выстраивании контактов играли и западные левые интеллектуалы (Й. Ивенс, Л. Арагон и др.), которые часто выступали посредниками между коллегами из советского блока и стран третьего мира. Исследование культурных связей между этими странами позволяет усложнить привычное деление советской интеллигенции на прозападных инакомыслящих и конформистов, ведь незападными антиимпериалистическими кино и литературой интересовались как раз последние. Кроме того, особой частью советской аудитории были жители Средней Азии и Закавказья, которым постколониальная проблематика была особенно близка, но о которых часто забывают в исследованиях как об оттепели, так и о «застое»⁶.

Особо Джагалов отмечает то, что литературоцентричность СССР, одной из двух сверхдержав, повышала ценность литературного труда и вообще сферы культуры в глазах антиколониальных активистов Азии и Африки. Как пишет автор, советская бюрократия унаследовала от русской дореволюционной интеллигенции веру в способность литературы и вообще культуры менять души людей, поэтому в эту сферу вкладывалось много ресурсов. Роль культуры в постколониальных обществах представлялась аналогичной ее роли в СССР. Неевропейские интеллектуалы искали советского признания, это влияло на их произведения, но одновременно делало их более заметными в международном контексте.

Другой важный тезис Джагалова, который, впрочем, будет оспариваться в позднейших исследованиях, — это указание на разрыв между двумя фазами советской антиколониальной политики: межвоенной «коминтерновской» и послевоенной хрущевской. Первая фаза характеризовалась появлением большого количества работ по проблемам колониализма, написанных убежденными марксистами, а также опробованием разных путей приложения марксистских теорий внутри и вне страны. Однако во второй половине 1930-х гг. в условиях нарастания германской угрозы СССР жертвует антиколониальной политикой ради сближения с Францией и Великобританией. Возврат к ней произойдет лишь во второй половине 1950-х — в совсем других организационных и идеологических формах. К этому времени борьба сверхдержав за влияние в странах третьего мира привела к резкому росту доступных интеллектуалам из этих стран символических и материальных ресурсов — приглашений на различные форумы, предложений щедрых гонораров и про-

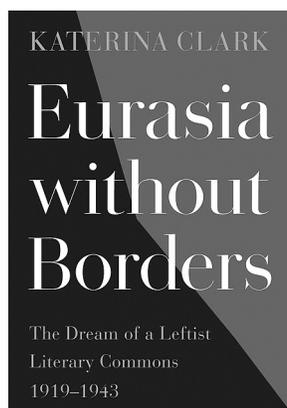
в политике и культурной практике (обзор) // Новое литературное обозрение. 2024. № 188. С. 381—394). О советизации и деколонизации Узбекистана в более ранний период см.: Халид А. Создание Узбекистана: нация, империя и революция в ранне-советский период / Пер. с англ. К. Тверьянович, А. Рудаковой. Бостон; СПб., 2022; Дриё Х. Кино, нация, империя: Узбекистан 1919—1937 / Пер. с фр. В. Петрова. Бостон; СПб., 2023. Роль «лаборатории деколонизации» выполнял не только Узбекистан: Kalinovsky A. Laboratory of Socialist Development: Cold War Politics and Decolonization of Soviet Tajikistan. Ithaca, 2018.

6 Так, например, Д. Сахадео стремится показать, что, с точки зрения мигрантов с южных окраин, брежневский СССР, наоборот, отличался большим динамизмом благодаря либерализации внутренней миграционной политики и идеологии «дружбы народов»: Сахадео Д. Голоса советских окраин: жизнь южных мигрантов в Ленинграде и Москве / Пер. с англ. Д. Чагановой. М., 2023.

катных возможностей. Обе стороны были вынуждены проявлять вонне идеологическую гибкость, но также внутренне меняться, что затрагивало как афроамериканцев в США, так и жителей Средней Азии и Закавказья в СССР. В то же время все большая бюрократизация СССР, исчезновение искреннего революционного энтузиазма, живых теоретических дискуссий, особенно в брежневское время, отталкивали многих интеллектуалов из неевропейских стран.

История советской литературы, отмечает Джагалов, периодизируется обычно с точки зрения ее отношений с Западом: за творческим расцветом авангарда 1920-х следуют узость соцреализма и сталинская самоизоляция, потом наступает оттепель с ее большей открытостью Западу, разгорается борьба между неосталинистами и реформаторами, возникают самиздат и тамиздат, литература эмиграции и пр. Но с незападной точки зрения история литературы так не выглядит. По мнению Джагалова, в странах Азии и Африки советская литература обычно вообще не воспринимается в ее временном развитии. Она важна в связи с конкретными событиями, в контексте которых появляется и наделяется особыми местными значениями.

Мнение Джагалова о двух фазах советской антиколониальной политики разделяет *Катерина Кларк*; ее «Евразия без границ» ограничивается межвоенным периодом⁷. Наряду с разворотом во внешней политике СССР, приведшим в итоге к упразднению Коминтерна, рубежным моментом она считает также выступления Мао Цзэдуна на Совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани в мае 1942 г., оформившие альтернативу советскому проекту литературного «восточного интернационала».



«Евразия без границ» продолжает две более ранние работы Кларк: «Петербург, горнило культурной революции» — о значении дореволюционных имперских идей жизнестроительства для советской культуры 1920-х гг. (в частности, там идет речь о лингвистической теории Марра, которая «меняла местами центр и периферию в Российской империи»⁸ и с которой были связаны дискуссии о едином языке) и «Москва, четвертый Рим»⁹ — о советской столице 1930-х гг. как о космополитичном, несмотря на сталинизм¹⁰, месте встреч советских и западных интеллектуалов, их попытках создать новую общую антифашистскую культуру. В «Евразии без границ» эта история советско-западных связей дополняется исследованием «восточного интернационала» как проекта революционного культурно-политического

единения народов Азии.

В качестве отправной точки Кларк рассматривает Первый съезд народов Востока, состоявшийся в Баку в сентябре 1920 г. Выступавшие, среди которых были

-
- 7 Clark K. *Eurasia without Borders: The Dream of a Leftist Literary Commons, 1919—1943*. Cambridge (Mass.); L., 2021.
 - 8 Кларк К. Петербург, горнило культурной революции / Пер. с англ. В. Макарова. М., 2018. С. 330.
 - 9 Кларк К. Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931—1941) / Пер. с англ. О. Гавриковой и А. Фоменко. М., 2018.
 - 10 Вслед за К. Шлегелем Кларк отмечает одновременное присутствие в Москве 1930-х гг. очень разных политических и культурных явлений; ср.: *Шлегель К. Террор и мечта. Москва 1937* / Пер. с нем. В.А. Брун-Цехового. М., 2011.

Г. Зиновьев, К. Радек, М. Павлович и др., высказывали мечту о будущем едином евроазиатском пространстве, в котором разные культуры гармонично переплетутся друг с другом, разные восточные литературы составят одно целое с пролетарской европейской, и возникнет, по выражению Павловича, общий международный океан поэзии и знания. Кларк почему-то поясняет метафору Павловича отсылкой к нацистскому теоретику права К. Шмитту, связывавшему образ океана с вечным и безграничным, хотя по крайней мере со времен Канта это было расхожее воплощение «динамически возвышенного» с акцентом не на бескрайности, а не неизмеримой мощи, перед лицом которой преодолевается ограниченность индивидуального, тем самым человек открывает безусловное и бесконечное в самом себе. Возможно, Павлович имел в виду и какое-то более банальное значение, понятное рядовым участникам съезда. В подчеркивании им особой роли литературы Кларк вслед за Джагаловым видит проявление особой веры советского руководства в силу художественного слова. В частности, в литературных произведениях можно было артикулировать свои политические задачи менее абстрактно, чем в марксистских трактатах.

Существовали в то время и другие проекты единения азиатских культур, но каждый охватывал какой-то отдельный регион — только Восточную Азию, или Восточную и Южную, или мусульманский Восток. Советский же проект был направлен на преодоление всех границ, правда, как именно — виделось по-разному. Так, Ленин, в отличие от Павловича, писал не о переплетении, а о слиянии наций, и в этом, по замечанию Кларк, отражалась противоречивость советского проекта, которая будет проявляться и позднее: с одной стороны — поддержка национально-освободительных движений, с другой — стремление преодолеть прежние национальные ограничения.

Проект, о котором говорилось в Баку, так никогда и не реализовался, но размышления о нем стали, по словам Кларк, началом возникновения всемирной литературы, но не в том центрированном вокруг Парижа варианте, о котором писал П. Казанова, а как ориентированной на широкое многообразие географических и культурных пространств¹¹. По сути, замечает исследовательница, мы имеем дело с недостающим звеном между идеей мировой литературы XVIII—XIX вв. и тем, что сложилось к началу XXI в. Д. Дэмрош отмечал, что Гёте хотя и сочиняет «Западно-восточный диван», но не является интернационалистом, ведь базовыми отсылками для него остаются Греция и Рим. В начале XX в. у разных писателей (Э. Феноллозы, Э. Паунда и др.) можно найти адаптации произведений восточной литературы, но значимым современным восточным автором считался разве что Р. Тагор. И если в СССР ценили Тагора-антиимпериалиста, проводника современных идей и борца за освобождение женщин, то на Западе он признавался как реактуализатор древней индуистской духовности.

С 1920-х гг. СССР стремился стать более открытым центром для взаимодействия разных культур, но здесь возникал целый ряд проблем. Уже в Баку остро ощущалось отсутствие общего языка общения. Единению литератур препятствовала и разница в основных жанрах: на Западе это был роман, в странах Востока — поэзия и драма. Сталин видел решение проблемы в создании литературы национальной по форме и социалистической по содержанию, но не всегда можно было отделить одно от другого. На практике ориентированные на советский проект писатели шли противоположными путями: если Назым Хикмет пытался преодолеть

11 В такой трактовке Баку Кларк следует за Эртюрк; см.: *Ertürk N. Baku, Literary Common // Futures of Comparative Literature: ACLA State of the Discipline Report. L., 2017. P. 141—144.*

турецкое в пользу европейско-авангардной моды¹², то Абулькасим Лахути — сохранить традиционные формы персидской поэзии, наполнив их новым содержанием. Не только в 1920-е, но и в 1930-е гг. левые писатели вели себя довольно самостоятельно. Так, они по большей части игнорировали призыв Радека на Первом всесоюзном съезде советских писателей сделать выбор: «Джеймс Джойс или социалистический реализм?»¹³ Кларк обращает особое внимание на участие в этом съезде многих зарубежных писателей.

«Евразия без границ» состоит из восьми глав, посвященных отдельным авторам, при этом Кларк географически движется с запада на восток, от Турции и Ирана через Афганистан к Индии и Китаю, а хронологически — от Бакинского съезда к совещанию в Яньани. В связи с книгами о Турции важны первые две главы, посвященные упомянутому Назыму, который сопоставляется с Маяковским, и Лахути, который сравнивается с Хлебниковым. В следующей главе (об Афганистане) рассматриваются только произведения писателей — участников советской дипломатической миссии 1921—1922 гг.: «Афганистан» Л. Рейснер и «Четырнадцать месяцев в Афганистане» Л. Никулина.

По словам Кларк, Назым — это центральная фигура, позволяющая проследить связи между возникающей советской культурой, европейским авангардом и новой культурой республиканской Турции. Не только литературное творчество, но и биография Назыма, который в 1920-е гг. дважды приезжал в СССР и возвращался в Турцию, а затем, в 1951 г., бежал в СССР после двенадцати лет в тюрьме, опровергают представление, будто новая интернациональная левая культура создавалась сверху вниз, под контролем бюрократов из Коминтерна. Особое внимание Кларк уделяет их совместному с Маяковским выступлению в Политехническом музее 8 марта 1923 г., когда Назым читал по-турецки поэму «Новое искусство». Используя характерный для Маяковского и вообще футуристов прием звукоимитации, Назым стремился сделать понятным содержание поэмы без перевода, на фонетическом уровне. В таком ницшеанском отказе от языка ради музыки виделось тогда, по мнению Кларк, одно из возможных решений проблемы общего языка, способного объединить представителей разных культур. Уход от языка означал также преодоление различий и иерархий, на которых обычно строится языковое высказывание, вот почему для Назыма было важно отказаться от традиционных турецких приемов стихосложения и обратиться к экспериментальной метрике европейского авангарда.

Из произведений Назыма 1930-х гг. Кларк подробно рассматривает «Поэму о шейхе Бедреддине» (1936) — суфийском шейхе, богослове, одном из руководителей восстания против султана в 1410-е гг. Назым перетолковывает османское прошлое в светском ключе, следуя официальной исторической политике времен Мустафы Кемаля. В то же время Бедреддин изображается как автор антиавторитарного учения, предвосхитившего многие из коммунистических идей, — тем самым Назым возражает официальной турецкой прессе 1930-х, считавшей коммунизм абсолютно чужеродным явлением. Кроме того, Бедреддин отменяет законы, дискриминирующие национальные меньшинства; турки, евреи и греки вместе поют

12 В его поэме «Новое искусство» (1922) повторяется призыв выбросить саз, традиционный турецкий музыкальный инструмент: «Эй, брось ты саз, / дуралей, / прекрати этот звон, / перелевы старья. / Выбрось вон старый саз. / Три струны у него — / тощих три соловья» (*Назым Хикмет. Новое искусство* / Пер. с тур. П. Железнова // Назым Хикмет. Избранное: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 19).

13 *Радек К. Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства* // Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С. 315.

песню о том, как будут мирно и свободно трудиться, что напоминает мечты о единении времен Бакинского съезда. Это тоже противоречило националистической идеологии кемалистской Турции, но было созвучно повороту СССР к политике Народного фронта — сотрудничеству европейских левых сил в противостоянии фашизму. Соответственно, в поэме больше нет антиимпериалистической риторики, характерной для Назыма в 1920-е гг. Использование же им эпической формы, полагает Кларк, связано не только с увлечением национальным фольклором в Турции 1930-х, но и с речью Горького на Первом съезде советских писателей, в которой превозносилось творчество дагестанского ашуга Сулеймана Стальского. Поэма Назыма показывает, как во второй половине 1930-х гг. эстетика соцреализма приспосабливается к турецким условиям, но одновременно утрачиваются многие из прежних эстетических и политических целей.

Хлебникова и Лахути объединяет участие в революционных событиях в Иране в 1921 г. Один был агитатором в красногвардейском отряде, отправленном на помощь Гилянской советской республике, а другой, вернувшись из эмиграции в Турции, стал офицером жандармерии в Тебризе, поднял в начале 1922 г. мятеж против правительства Реза-хана, а после его подавления бежал на советскую территорию. Оба в своем творчестве обращаются к образу кузнеца Каве из «Шахнаме» Фирдоуси, поднявшего восстание против правителя-злодея¹⁴, и у обоих, по словам Кларк, в стихах больше персидской традиции, чем марксизма-ленинизма. Но если Хлебников в его персидском цикле мыслит всеобщее единение в духе спиритуализма Блаватской, грезит о триединстве Христа, Будды и Мухаммеда, пусть и уделяя больше, чем Блаватская, места исламской культурной традиции, то поэзия Лахути подчеркнута посюсторонняя¹⁵, средневековую метрику он наполняет актуальным содержанием, большевистской агитацией, как в «Оде Кремлю» (1923). В написанном позднее либретто для оперы о кузнеце-революционере («Кузнец Кова», 1939; премьера состоялась 15 апреля 1941 г. в Большом театре в Москве) главный герой, по словам Кларк, подобен стахановцу. В конце он не передает власть новому шаху, как у Фирдоуси, а поет и танцует с другими участниками восстания, как в финале фильма «Волга-Волга» Г. Александрова (1938). В конце 1940-х гг. Лахути станет жертвой борьбы с космополитизмом, поскольку считал таджикскую культуру частью более широкой, интернациональной персидской. Последние годы он занимался переводом «Шахнаме», первый том которого выйдет в 1957 г., в год его смерти, когда идеи культурной близости с зарубежным Востоком снова окажутся востребованы. Таким образом, заключает Кларк, хотя Лахути в 1930-е гг. и являлся одним из руководителей Союза писателей и даже жил в Доме на набережной, он был вовсе не «придворным поэтом», а человеком, отстаивавшим свое понимание художественной эстетики и истории культуры, даже ценой потери привилегированного статуса. Подобно Хлебникову, Маяковскому и Назыму, он совмещал в своей карьере роли революционера и поэта-интеллектуала, пусть и не столь эксцентричного.

Нергис Эртюрк, автор книги «Красное письмо»¹⁶, видит в истории таких писателей не только важный эпизод становления мировой литературы, но и предис-

14 У В. Хлебникова — «Кавэ-кузнец» (1921).

15 Еще в 1914 г. он писал: «О, если скажет кто-нибудь, что в небе есть аллах, / Дай тут же в зубы болтуну! Бей кулаком, бей смело!» (*Лахути А.* «Когда от верховой езды...» / Пер. с фарси С. Шервинского // *Лахути А.* Стихотворения и поэмы / Сост. З.Н. Ворожейкиной. 2-е изд. Л., 1981. С. 46).

16 *Ertürk N.* Writing in Red: Literature and Revolution across Turkey and the Soviet Union. N.Y., 2024. Из ее работ см. также: *Ertürk N.* Grammatology and Literary Modernity in Turkey. Oxford, 2011.

торию диссидентских движений второй половины XX в. Кроме того, по ее мнению, в постколониальных исследованиях до сих пор недооценивалось историко-культурное значение турецкой Войны за независимость (1919—1923). Победа в ней, одержанная при поддержке большевиков, была вдохновляющим примером для многих народов, также боровшихся с французским, британским и итальянским империализмом. Анкара наряду с Москвой становится в 1920-е гг. местом встреч представителей антиколониальных сил.



Выбрав путь вестернизации, кемалистская верхушка продолжала следить за альтернативным путем модернизации в СССР. Происходил активный обмен официальными делегациями, включавшими в себя деятелей культуры. Так, С. Юткевич, побывавший в Турции по случаю празднования в 1933 г. десятилетия Турецкой республики, снимает фильм «Анкара — сердце Турции», демонстрирующий новый облик страны и ее особый путь модернизации. С другой стороны, такие видные идеологи кемалистского режима, как Фалих Рифки и Якуб Кадри, посетили Первый съезд советских писателей в 1934 г.¹⁷ Используя работы советских писателей и филологов, они стремились создать для Турции новую светскую культуру, способную преодолеть разрыв между элитой и народом.

Кроме того, в рамках политики модернизации, включавшей в себя обширную программу переводов западной литературы, в 1930-е гг. появляются турецкие издания Чехова, Достоевского, Тургенева, Горького, Шолохова и многих других авторов, правда переводили их в основном с французского. При этом Эртюрк, как и Джагалов, отмечает, что культурные контакты не были лишь производными от официальных дипломатических, а имели собственную логику.

Большое влияние на культурные связи оказали и нелегально пересекавшие турецкую границу выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ). Хотя они и подвергались репрессиям со стороны кемалистского режима, но все же смогли существенно расширить круг известных в Турции авторов, переводя непосредственно с русского. Публиковали они и собственные сочинения, написанные под влиянием опыта пребывания в Москве. По словам Эртюрк, такого рода тексты, выходящие за рамки официального турецкого дискурса об СССР, составляют альтернативный, весьма гетерогенный культурный архив, рассказывающий о переплетениях большевистской и анатолийской революций, многие обещания которых были перечеркнуты позднее сталинизмом и кемализмом. Влияние этих авторов не ограничивалось межвоенным периодом. Несмотря на ужесточение репрессий в конце 1930-х и бегство из страны многих авторов в 1950-е гг., влияние этой традиции продолжало сказываться в 1960-е и позднее, в контексте деколонизации. В случае Турции, как полагает Эртюрк, разрыва левого интернационального движения на две фазы не было.

По словам автора, до сих пор исследователи уделяли основное внимание воздействию советского авангарда, отчего центральной фигурой оказывался Назым, но не менее важны были исторические романы или эротическая литература. Работавшие в этих жанрах Низаметтин Назиф и Вала Нуреддин, а также другие ав-

17 В речи на съезде Кадри задавался вопросом: «Как реализовать ту самую учебу друг у друга, о которой говорил здесь Алексей Максимович?» И отвечал: «Прежде всего — больше близости» (Первый всесоюзный съезд... С. 345). См. также: *Якуб Кадри Караосманоглу*. Дипломат поневоле: воспоминания и наблюдения. М., 1978.

торы, объединявшиеся вокруг «Иллюстрированного ежемесячника», основного левого литературного издания 1930-х гг. (Зеки Баштымар, Решад Фуад Баранер, Суад Дервиш, Абидин Дино и др.), незаслуженно оказались в тени.

Низаметтин, когда-то вместе с Назымом учившийся в военном-морском училище, в конце 1920-х гг. сначала в газете «Время», а потом отдельными книгами публикует роман «Кара Давуд», действие которого происходит в XV в. и в котором он пытается применить марксистское понятие фетишизации «азиатского деспота»: все на свете свершает деспот как высшая сила. От советских и кемалистских истериков роман отличался натуралистичным изображением убогости крестьянской жизни, а также заметной ролью меньшинств — курдов, алавитов, христиан. Он повлиял на концепцию поэмы Назыма о Бедреддине.

Вала пишет в 1928 г. эротический комедийный роман «Балтаджи и Екатериана», изображающий, по словам Эртюрк, коллапс империй сквозь призму сексуальной революции, но прежде всего он был известен как переводчик М. Зоценко, которого переводил и Назым (позднее, в 1954 г., он пригласит опального Зоценко на чтение своей пьесы «Первый день праздника» в Ленинграде). Назым и Вала по-своему трансформировали советские тексты. Так, в «Душевной простоте» (1927) Зоценко речь идет о том, как в уличной толчее людям наступают на ноги, но они не обращают на это внимания, а в версии Назыма турок постоянно теснят, но они относятся к этому с большим благодушием, даже если им наступают на головы, — из иронической зарисовки советской повседневности рассказ превращается в критику кемализма. В «Мелком случае» (1927) Зоценко герой приходит в театр, но не может заплатить за гардероб, а в пальто его не пускают, в препирианиях он пропускает спектакль и, рассерженный, уходит домой; у Назыма же герой прорывается в опустевший зал и сидит там до утра, оказываясь скорее трагической, чем комической фигурой с его неисполнимой мечтой увидеть театр.

Переводы Вала в большей степени следовали оригиналу, но тоже отличались. Сказ Зоценко передается у него как меддах — традиционное с XVII в. рассказывание историй в кофейнях и частных домах. Основанная на импровизации форма меддаха включала в себя имитацию разных стилей речи, представляющих социальные типы, и их утрированное изображение создавало комический эффект, одновременно выявляя напряжение в социальных отношениях. В результате переводимые рассказы становились гораздо более игровыми и драматичными. Так, в «Шапке» (1927) Зоценко рассказывается о машинисте, с которого в пути сдуло шапку, и он останавливает поезд, чтобы пассажиры помогли найти ее; как и у Гоголя с носом или шинелью, преувеличенная важность вещи создает комический эффект. У Вала («Восстановленный порядок», 1929) «шапка» переводится как *şapka*, и главный комический эффект заключается уже в этом. После запрета Мустафой Кемалем в 1925 г. фесок и тюрбанов было предписано носить как раз «шапки» — шляпы европейского образца (так называемая шапочная революция). При этом, так же как у Гоголя утрата носа прочитывалась с сексуальными коннотациями, запрет фесок виделся в те годы как своего рода символическая кастрация, сделавшая новым основанием маскулинной идентичности «шапку». Если у Зоценко речь идет вообще о перепутанности вещей в советской культуре, то у Вала акцент делается на гендерном значении истории, и уже в связи с этим критикуются республиканские идеи прогресса и реформ. Таким образом, заключает Эртюрк, здесь нет иерархии русского и турецкого вариантов, они каждый по-своему подрывают официальные репрезентации Новой России и Новой Турции как успешных примеров ускоренной модернизации.

Вала, отмечает Эртюрк, был одним из немногих, кто сумел обратиться к теме кризиса традиционной маскулинности в межвоенный период, когда и в России, и

в Турции происходят секуляризация брака, либерализация разводов, легализация абортов. Имело значение и то, что после войн многие остались вдовами и сиротами. С другой стороны, революционный аскетизм предполагал мужские, товарищеские отношения без заботы о семьях и «буржуазной» романтической любви. Сам Вала в период учебы в КУТВ женился на армянке и оставил ее с дочерью в СССР, когда вернулся в 1925 г. в Турцию, больше он их никогда не увидит. Не увидит свою московскую жену с ребенком и Назым. Но в те же годы предпринимаются попытки восстановить традиционную роль мужчины. Когда в 1926 г. в Турции был принят новый гражданский кодекс, составленный по образцу швейцарского, женщинам даровалось право на развод и опеку над детьми, но там же говорилось и о мужчине как о главе семьи. Происходит постепенное становление культа Кемаля как отца нации. Переводы Вала и его романы подрывали эти новые формы патриархата.

В том же ключе рассматривает Эртюрк и другие тексты, например «Фосфорическую Джеврие» (1948) С. Дервиш, которая следует сюжету «Матери» Горького, но при этом Ниловна заменена на делающую аборт проститутку, что подрывает характерный для соцреализма миф о величии семьи. Если Ниловна в конце понимает, что все люди — большая семья, то Дервиш, по словам Эртюрк, отказывается мыслить коммунистическое сообщество как гетеронормативное и фаллоцентрическое. Центральным элементом романа Дервиш оказывается любовь. В «Матери» друг Павла Николай говорит, что любовь уменьшает революционную энергию; у Горького любящие друг друга люди разъединены, и происходит типично революционная сублимация чувств. У Дервиш же именно любовь оказывается в центре истории, что предполагает другую субъективность и другую этику действия.

Как отмечает Эртюрк, до 1960-х гг. Дервиш была больше известна не в Турции, а в СССР, где ее переводил Радий Фиш. В 1957 г. выходит перевод «Фосфорической Джеврие», в 1960-м — «Узников Анкары», а в 1969-м — автобиографических «Любовных романов», где Дервиш «переписывает» «Антигону» Софокла: отказ отречься от брошенного в тюрьму брата-близнеца означает для героини социальную смерть. Дервиш была замужем за сидевшим в тюрьме лидером подпольной турецкой компартии и была вынуждена, как и ее литературная героиня, зарабатывать написанием пошлых любовных историй, которые публиковала под чужим именем. Причем текст «Любовных романов» сохранился только в русском переводе, с которого позднее был сделан обратный турецкий перевод, местонахождение же оригинала неизвестно. Вообще, отмечает Эртюрк, изучение истории политической левой турецкой литературы осложняется очень плохой сохранностью текстов, которые издавались подпольно небольшими тиражами, пропадали при обысках, передавались через посредников третьим лицам и т.п.

В самом начале книги Эртюрк рисует сцену тайного собрания в Анкаре в октябре 1922 г. членов запрещенной Народной коммунистической партии Турции. Группа из пяти человек решает разделиться, чтобы разными путями пробраться в Советскую Россию. Среди них были секретарь партии Салих Хаджиоглу, который умрет в советском лагере 1954 г., и Низаметтин, будущий автор «Кара Давуда». Подобным образом Назым в автобиографическом романе «Жизнь — прекрасная штука, брат...» описывает свое трудное бегство из Турции после убийства кемалистами Мустафы Субхи и других руководителей турецкой компартии в 1921 г. Как все эти люди стали коммунистами? Эртюрк придает особое значение Спартакистскому восстанию в Берлине 5—12 января 1919 г. — попытке Коммунистической партии Германии захватить власть в стране по большевистскому образцу. После этого десятки учившихся в Германии турецких студентов были депортированы на родину — они-то и привезли с собой багаж леворадикальных идей, которыми стали де-

литься прежде всего со своими стамбульскими знакомыми из образованных кругов. Характерно, что Назым и Низаметтин были потомками пашей и имели возможность получить хорошее образование. Кларк же в своей книге отмечала, что среди участников Бакинского съезда было много недавних пантюркистов.



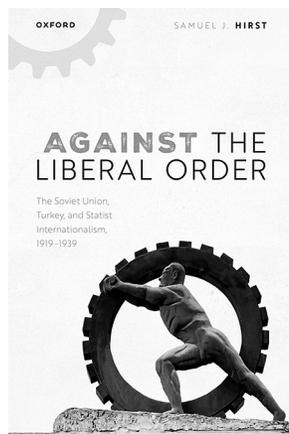
По-своему отвечает на вопрос о происхождении турецких коммунистов и соответственно интерпретирует их тексты Джеймс Мейер в книге «Красная звезда над Черным морем»¹⁸, основанной на изучении материалов российских архивов, прежде всего — личных дел студентов КУТВ, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории. Судьба Назыма помещается в контекст биографий многих других людей его поколения, жизнь которых в 1920-е гг. также оказалась трансграничной¹⁹. По мнению исследователя, большинство приезжавших в Советский Союз и поступавших в КУТВ или же как-то иначе сотрудничавших с большевиками вовсе не были убежденными коммунистами. Многие из них — действительно недавние пантюркисты, искавшие теперь себе нового применения, реализации своих идей в иной форме, под эгидой коммунистического интернационализма.

Значительную часть будущих турецких коммунистов составляли находившиеся в России пленные османские солдаты, у которых после 1917 г. часто не было другого выбора, кроме как пробираться в родную Анатолию, вступив в части Красной армии, и нередко это становилось началом их советской карьеры. Об одном из таких османских унтер-офицеров, учившемся в КУТВ и испытывавшем классовую ненависть к генеральскому внуку, с неприязнью вспоминает Назым в романе «Жизнь — прекрасная штука, брат...». Многие попадали в Советскую Россию как беженцы, поскольку турецкая Война за независимость и связанные с ней невзгоды длились дольше, чем Гражданская война в России, и в 1921—1923 гг. жизнь в Советском Закавказье выглядела более благополучной. Оттуда благодаря земляческим связям многие попадали в Москву и другие города. Чтобы найти работу и выжить, они готовы были сотрудничать с разными советскими учреждениями, в том числе служить в ГПУ или поступить в КУТВ. Отдельную группу представляют собой российские мусульмане, эмигрировавшие в позднеимперский период, имевшие турецкие паспорта, но теперь, после отмены большевиками национальной и религиозной дискриминации, стремившиеся вернуться в Крым, Поволжье, на Кавказ и в Среднюю Азию, готовые ради этого на некоторую политическую мимикрию. Наконец, были и просто туристы, желавшие посмотреть, как выглядит на самом деле пресловутый большевизм. Именно так, а не как бегство, трактует Мейер первый приезд в Советскую Россию Назыма в компании Вала — они дружили еще со времен учебы в элитном стамбульском Галатасарайском лицее (в автобиографическом романе Назым по ряду причин умалчивает о спутнике). Поэзия Назыма предшествовавших поездке лет (1919—1921) аполитична, а до этого отличалась военным шовинизмом. Все эти люди по-своему реагировали на то конкретное окружение, в котором

18 Meyer J.H. *Red Star over the Black Sea: Nâzım Hikmet and His Generation*. Oxford, 2023.

19 Книга продолжает более ранние исследования автора о трансграничных российско-османских контактах в позднеимперский период; см.: Meyer J.H. *Immigration, Return, and the Politics of Citizenship: Russian Muslims in the Ottoman Empire, 1860—1914*. Cambridge, 2007. См. также: *Hamed-Troyansky V. Empire of Refugees: North Caucasian Muslims and the Late Ottoman Empire*. Stanford, 2024.

оказывались. Так, Назым, пока общался с Маяковским и Мейерхольдом, писал авангардные тексты, но по возвращении в Турцию его стихи становились более традиционными. Тексты турецких коммунистов неправильно рассматривать как раз и навсегда подчиненное одной общей идее, — они, считает Мейер, должны прочитываться в контексте конкретных биографий, условий жизни, в том числе трагических последствий закрытия границы в 1930-е гг. и усиления репрессий в обеих странах в конце 1930-х.



Книга *Сэмюэла Хёрста «Против либерального порядка»*²⁰ посвящена в большей степени сотрудничеству между РСФСР/СССР и Турцией на государственном уровне, стремлению представителей советского и турецкого руководства уйти от тех моделей отношений, что сложились в позднеимперский период. Хёрст отмечает, что в 1920-е гг. между двумя странами было много общего: ощущение отсталости и потребность в модернизации; необходимость борьбы с интервенцией — войсками Антанты, высаживающимися в Мурманске и Одессе, в Стамбуле и Адане. В обеих странах главным двигателем модернизации виделось государство. Особенно тесным сотрудничество становится в 1930-е гг., после Великой депрессии, когда СССР выделяет Турции кредиты и строит на ее территории

заводы, чтобы сделать ее более независимой от промышленного Запада. Несмотря на репрессии против «буржуазных националистов» в СССР и коммунистов в Турции, две страны ощущали себя по одну сторону раздела между Западом с его колониальными амбициями и антиимпериалистическими силами. Обе страны в 1920-е гг. оказались в положении международных изгоев. У обеих имелся печальный опыт внешних заимствований, когда царь и султан жертвовали суверенитетом ради иностранных инвестиций. Разгром левой оппозиции в СССР и поворот к авторитарному правлению происходит примерно тогда же, когда после покушения на Кемаля в 1926 г. проходят чистки в турецком руководстве. «Великая речь» турецкого лидера 1927 г. перекликается с провозглашенным Сталиным годом позже курсом на «великий перелом».

Общее стремление преодолеть прошлое было связано с рядом трудностей. Хёрст подробно анализирует, как в сложных дискуссиях о паритетности торгового баланса, о статусе сотрудников советских торгпредств, о лицензировании турецких товаров вырабатывались представления о равноправных постимперских отношениях. В результате контактов с турецкой стороной большевики пересматривали многое из своих прежних убеждений. Так, К. Юст, в 1920-е гг. работавший в Анкаре и проделавший путь от пресс-атташе до первого секретаря посольства, в стихотворении «Кредо» (1922) писал в духе Бакинского съезда о всеобщих объятиях и единении разных народов. В очерках, публиковавшихся в «Красной нови», он стремился заменить прежний ориенталистский язык описания Турции новым революционным, уйти от старых клишированных образов этой страны. Но постепенно он начинает писать и о том, что турки в одиночку героически сражались против империалистов, а греки и армяне, пойдя в услужение Антанте, их предали, и это диссонировало с пафосом единения в «Кредо».

20 Hirst S.J. *Against the Liberal Order: The Soviet Union, Turkey, and Statist Internationalism, 1919–1939*. Oxford, 2024.

Многие из тех, кто в начале 1920-х гг. ехал в Анкару от черноморского побережья, видели такое, что оставляло самое тяжкое впечатление — даже у бывалых людей вроде М.В. Фрунзе, проделавшего этот путь верхом в 1921 г. Тогда возникла опасность франко-турецких договоренностей, и к Кемалю был отправлен близкий ему по духу военный человек из высшего руководства РСФСР. В письме К.Е. Ворошилову Фрунзе отмечает жуткие следы насилия в отношении греков, их жен и детей, пишет об омерзительности увиденного, но в его письме, отмечает Хёрст, видно также стремление преодолеть в себе симпатию к жертвам, что было непросто, поскольку сочувствие к христианам, «страдавшим под османским гнетом», усиленно культивировалось в царской России. Фрунзе находит греческих женщин похожими на российских крестьянок, а вот наряды турок для него странны и чужды. Его письма в НКВД и Политбюро не оставляют, однако, у читателя сомнений в антиимпериалистическом характере межэтнического насилия. Фрунзе отмечает прямоту, душевную теплоту и искренность Кемалю, его недоверие к Антанте. Такое видение ситуации в Турции воспроизводится и в его статье «По ту сторону Черного моря» (1921), опубликованной в журнале «Коммунист». В дневниковых записях он также возлагает ответственность за разрушение большой греческой деревни на стравливающую народы якобы просвещенную Антанту: турецкие греки стали жертвами ее агентов. Схожую позицию занимали советские востоковеды, как это видно по работам «Революционная Турция» (1921) М. Павловича или «История революции в Турции» (1923) женатого на армянке В. Гурко-Кряжина, а также чиновники среднего ранга вроде Е. Адамова, директора архива НКВД, который в первом номере журнала «Международная жизнь», начавшего выходить в 1923 г., писал, что тему христиан до последнего времени использовали для установления внешнего контроля над Турцией, ограничения ее суверенитета. Таким образом, отмечает Хёрст, в 1920-е гг. и позднее происходило расставание не только с шаблонами царской восточной политики, но и со многими принципами раннего советского интернационализма.

Если Джагалов, Кларк и Эртюрк занимаются апологетикой «восточного интернационала», рассматривают советскую «республику словесности» как ценную альтернативу либеральной модели всемирной литературы (как она описана П. Казановой, Ф. Моретти и др.), то Хёрст не ограничивается изучением культурного взаимодействия и уделяет больше внимания проблемным сторонам сотрудничества двух стран. Впрочем, и для его работы важно стремление уйти от европоцентристской перспективы, в том числе от акцентирования советско-германских отношений в истории становления оппозиции «либеральному порядку». Книга Мейера дополняет эти исследования более сложной картиной судеб конкретных людей, их нестабильной самоидентификации с большими культурными и идеологическими проектами. Таким образом, если четыре года назад Джагалов сожалел о слабом интересе к такого рода темам, то исследования последних лет демонстрируют довольно большое разнообразие подходов и трактовок, которые заслуживают дальнейшего обсуждения.